

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Там они.

Черные ребята в белой форме, рукоблудят в коридоре, спускают на пол и подотрут, пока я их не застучал.

Как раз подтирают, когда выхожу из палаты, все трое хмурые и ненавидят все вокруг, ранний час, это самое место, людей, с кем приходится работать. Когда так ненавидят, лучше им не попадаться. Я крадусь по стенке в парусиновых туфлях, но у них такие специальные датчики на мой страх, и они поднимают взгляд, все трое, глаза сверкают на черных лицах, словно лампы в старой радиоле.

— А вот и Вождь. *От* такой Вождь, ребзя. Вождь Швабра. На-ка, старик...

Сует мне тряпку в руку и показывает, где мыть сегодня, и я иду. Другой подгоняет, стуча по ногам ручкой швабры.

— Хах, гляньте на него, ёпрст. Такой громила, мог бы яблоки есть с моей головы, а смиренный, как дите.

Смеются, а потом слышу, что-то бормочут, составив головы. Загудела черная машина, загудела ненавистью, смертью и прочими больничными секретами. Они при мне не делают секрета из своей ненависти, потому что думают, я глухонемой. Все так думают. Я довольно хитрый, чтобы обдурить их. Если мне хоть чем-то помогла в этой грязной жизни половина индейской крови, так это хитростью, все эти годы помогала.

Когда я мою перед дверью в отделение, слышу, как снаружи вставляют ключ, и понимаю, это Старшая Сестра,

так плавно входит ключ в замок, легко и быстро, прино-
ровилась за все время. Она проскальзывает внутрь, впуская
холодный воздух, и закрывает дверь, и я вижу, как ее паль-
цы гладят полированную сталь — кончики пальцев в тон
губам. Ярко-оранжевые. Словно кончик раскаленного же-
леза. Цвет такой горячий или холодный, что не поймешь,
если она коснется тебя.

У нее плетеная сумка, вроде тех, какие продает племя
ампкава¹ в августе, на обочине раскаленного шоссе, по фор-
ме точно ящик с инструментами, с ручкой из пеньки. Она
с ней все время ходит. Плетение свободное, и мне видно,
что внутри; ни косметички, ни помады, никаких женских
вещиц, но навалом всякой всячины для рабочих задач —
шарики и ролики, шестеренки, начищенные до блеска,
пилюльки, блестящие, как фарфор, иглы, кусачки, пин-
цеты, мотки медной проволоки...

Кивает мне, когда проходит мимо. Я отъезжаю от шва-
бры к стене и улыбаюсь, опуская глаза, всеми силами ста-
раясь заглушить ее датчики — тебя не видно до нутра, ког-
да закрыты глаза.

Слышу в темноте, как ее резиновые каблуки стучат по
кафелю, а добро в сумочке брякает в такт шагам. Шагает
скованно. Когда открываю глаза, она уже дошла до сте-
клянной будки, где просидит весь день за столом, глядя
через окошко в дневную палату и все записывая, восемь
часов кряду. Лицо довольное, себе на уме.

И тут... она засекает черных ребят. Они стоят все там же
и знай себе треплются. Не слышали, как она вошла в от-
деление. Теперь почуяли ее взгляд, но уже поздно. Хвати-
ло ума прохладиться, когда ее смена. Развели подальше
лица, винятся. А она надвигается на них в полуприседе,
собирается зажать в углу и сцапать. Она знает, о чем они
трепались, и я вижу, как она рассвирепела. Удержу нет,
готова черных гадов в клочья разорвать. Она раздувается,
халат на спине трещит, и руки выдвигаются настолько,

¹ «Умрква» (англ.) — индейское племя, проживающее в резерва-
ции в штате Орегон (здесь и далее прим. пер.).

что пять-шесть раз обернут всю их троицу. Поводит туда-сюда массивной головой. Никого поблизости, только старый полукровка Швабра-Бромден спрятался за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что немой. Так что опасаться некого, и ее накрашенная улыбка кривится, растягиваясь в оскал, а сама она все растет и растет, уже с трактор вымахала, до того огромная, что я чую запах мотора, словно тягач надрывается. Я задерживаю дыхание и смекаю, боже правый, на этот раз им кранты! На этот раз они возвели такую ненависть, выше крыши, что в ключья разорвут друг дружку, и глазом моргнуть не успеют!

Но едва сестра начала оборачивать черных раздвижными руками, а те — потрошить ей нутро ручками швабр, как из палат показались на шум пациенты, и сестра быстро вернула свою маскировку, пока ее не застали в подлинном виде. К тому времени, как пациенты навели свои глаза на резкость, чтобы рассмотреть, что там за сыр-бор, они увидели всего лишь Старшую Сестру, говорящую черным ребятам в своей обычной, сдержанной манере, со спокойной улыбкой, что негоже прохладиться утром *понедельника*, когда *столько* всего надо сделать в первое утро новой недели...

— ...Сами понимаете, ребята, понедельник день тяжелый...

— Ну да, миз Рэтчед...

— ...И у нас хватает дел на утро, так что, если ваше внеочередное совещание *не слишком* срочное...

— Ну да, миз Рэтчед...

Она умолкает, чтобы кивнуть отдельным пациентам, вставшим поодаль, глазающим красными, припухшими со сна глазами. Каждого выделяет кивком. Четким, как у робота. Лицо у нее гладкое, выверенное и проработанное, как у дорогой куклы, кожа из эмали натурального бело-кремового цвета, голубые глаза, носик пуговкой, розовые ноздри — все тютелька в тютельку, кроме цвета губ и ногтей, да еще размера груди. Где-то в расчеты закралась ошибка,

и на идеальную в остальном фигуру навесили эти большие груди, предмет ее постоянной досады.

Пациенты все стоят и кумекают, за что сестра распекает черных, так что она вспоминает про меня и говорит:

— И *раз уж* сегодня понедельник, почему бы нам, ребята, не задать хороший старт этой неделе, побрив первым делом бедного мистера Бромдена, пока не началась обычная толкучка в цирюльне после завтрака, и постараться избежать... э-э... суматохи, какую он обычно вызывает, что скажете?

Пока никто не обернулся на меня, я пячусь в чулан, прикрываю дверь и задерживаю дыхание. Бриться до завтрака — хуже некуда. Когда заморил червячка, у тебя хоть какая-то сила и бдительность, и гадам, что работают на Комбинат, не так-то просто подобраться к тебе со своими машинками вместо электробритвы. Но когда бреют *до* завтрака, как она мне иногда устраивает — полседьмого утра в комнате с белыми стенами, и раковинами, и трубчатыми лампами на потолке, не дающими теней, и кругом тебя кричат лица, захваченные зеркалами, — что ты можешь против их машинок?

Я прячусь в чулане и слышу, как сердце стучит в темноте, и стараюсь прогнать страх, отогнать подальше мысли — даю им задний ход и вспоминаю поселок и большую реку Колумбию, когда однажды, эх, пошли мы с папой охотиться на птиц в кедровнике под Даллесом¹... Но, как всегда, когда я пытаюсь задвинуть мысли в прошлое и схорониться там, страх тут как тут, просачивается в мою память. Чую, как один черный малый идет по коридору, вынюхивая мой страх. Выставил ноздри, точно двустволку, и башкой туда-сюда поводит, втягивая страх со всего отделения. Вот, и меня почуял, слышу, фыркает. Где я прячусь, не знает, но рыщет и вынюхивает. Замираю...

(Папа говорит, замри, говорит, собака почуяла птицу, вот-вот выгонит. Мы одолжили легавую у человека из Дал-

¹ Даллес — самый крупный город округа Васко, штат Орегон, США.

леса. Папа говорит, поселковые собаки сплошь дворняги *пар-вшивые*, на рыбей требухе весь нюх растеряли; а энта собака, у ней *истинт!* Я ничего не говорю, а сам вижу птицу в можжевельнике, припала к земле серым комком перьев. Собака бегаёт кругами, ошалев от запаха, хоть и легавая. Птица жива, покуда сидит смирно. Она держится до последнего, но легавая все кружит и вынюхивает, все громче и ближе. И вот птица срывается, расправив крылья, и вылетает из можжевельника прямо под папину дробь.)

Не успел я сделать десять шагов от чулана, как меня ловят двое черных, самый мелкий и побольше, и тащат в цирюльню. Я не упираюсь, не шумлю. Закричишь, тебе же хуже. Сижу, терплю. Терплю, пока до висков не добрались. Сперва я еще сомневался, бритва это или одна из тех вражьих машинок; но как до висков добрались, тут уж всё. Как тронули виски, никакой воли не хватит. Это ж... как кнопку нажали — *воздушная-тревога-воздушная-тревога*, — и я включаюсь на такую громкость, что звука не слышно, и все орут на меня из-за стекла, заткнув уши и раззявив рты, но без звука. Я их всех переозвучил. Опять включают туман, и меня засыпает снег, белый и холодный, точно снятое молоко, да так густо, что я мог бы туда занырнуть, если б меня не держали. Не вижу ни зги в тумане, слышу только, кроме вопля своего, как Старшая Сестра голосит и чешет по коридору, раскидывая пациентов своей сумкой. Слышу ее все ближе, но не могу замолчать. Так и вою, пока она подходит. Меня держат, а она пихает мне в рот сумку со всем добром и проталкивает ручкой швабры.

(Крапчатая гончая заливается лаем в тумане, носится, испуганная, потому что не видит. Никаких следов на земле, кроме собственных, и она нюхает все вокруг холодным резиновым носом и не чует ничего, кроме своего страха, прожигающего ее насквозь.) Вот и меня также прожжет, и я наконец расскажу про все это, про больницу, про сестру с ребятами и про Макмёрфи. Я так долго молчал, что

теперь меня прорвало, как плотину, и вы решите, раз чувак несет такое, он выжил из ума, *бог ты мой*; решите, не могло быть ужаса такого, слишком это кошмарно для правды! Но прошу вас. Мне все еще непросто собраться с мыслями, как подумаю об этом. Но это правда, даже если было все не так.

2

Когда туман рассеивается и снова все видно, я сижу в дневной палате. На этот раз меня не повезли на шоковую терапию. Помню, после бритья заперли в изоляторе. Не помню, давали завтрак? Наверно, не давали. Другой раз, бывало, лежу утром в изоляторе, и черные приносят всякий хавчик — вроде как мне, а уплетают сами, — так все трое и позавтракают за мой счет, пока я лежу на ссаном матрасе, глядя, как они яичницу хлебом подчищают. Пахнет топленным салом, и жареный хлеб хрустит на зубах. А то еще холодной каши принесут и заставят съесть, даже без соли.

Но этого утра совсем не помню. В меня будь здоров напихали этих самых пилюлек, так что в памяти провал, а потом слышу, дверь отделения открывается. Если она открывается, значит, самое раннее восемь часов, значит, я пролежал в изоляторе часа полтора в отключке, когда могли прийти техники и приделать мне все, что Старшая Сестра прикажет, а я и не узнаю.

Слышу возню у двери, дальше по коридору, но что там, не видно. Эта дверь начинает открываться в восемь и за день сто раз откроется-закроется, шух-шух, *клац*. Каждое утро мы сидим по струнке вдоль стен дневной палаты, складываем мозаики после завтрака, слушаем, как ключ в замке поворачивается, и ждем, что будет. Больше заняться нам особо нечем. Иногда заходит кто-нибудь из молодых врачей при больнице, посмотреть на нас, какие мы *до приема лекарств*. До п. л., как они говорят. Иногда жена кого-то навещает, на шпильках, прижимая сумоч-

ку к животу. А то еще приводит школьных училок этот дурачок из общественных связей, который вечно хлопает потными ладошками и говорит, как ему радостно, что психбольницы теперь покончили с прежней жестокостью. «Какая *душевная* атмосфера, не правда ли»? Крутится вокруг училок, сбившихся в кучку для надежности, и хлопает ладошками. «Ох, как вспомню, что творилось в прежние дни, всю эту грязь, плохое питание и, да, бесчеловечность, ох, ясно вижу, дамы, как далеко мы продвинулись по пути прогресса!» Кто бы ни вошел в эту дверь, мы им обычно не рады, но всегда остается надежда, и когда вставляют ключ в замок, все головы поворачиваются как по команде.

Этим утром замок шелкает как-то чудно; за дверью кто-то необычный. Слышен голос сопровождающего, напряженный и нетерпеливый: «Принимайте нового, подойдите, распишитесь за него», — и черные идут.

Новый. Все прекращают играть в карты и «Монополию», поворачиваются к двери палаты. Почти всегда я мету коридор и вижу, кого записывают, но этим утром, как я уже объяснил, Старшая Сестра напихала в меня стотыщ фунтов, и я не сдвинулся с места. Почти всегда я первый вижу нового, смотрю, как он юркнет в дверь, прокрадется по стеночке и встанет весь зашуганный, пока черные ребята подойдут расписаться за него и отведут в душ, где разденут и оставят дрожать с открытой дверью, а сами, все троим, будут весело бегать туда-сюда, ища вазелин. «Нам *нужен* этот вазелин, — скажут они Старшей Сестре, — для термометра». Она окинет их взглядом: «Ну, *разумеется*, — и даст вот-такенскую банку, — но смотрите, ребята, не толпитесь там». А дальше я вижу, как двое, а то и все трое, набьются туда, в душевую, вместе с новеньким, и обмазывают термометр вазелином, слоим в палец, приговаривая: «Так-точь, мать, так-точь», — а затем закроют дверь и вывернут все краны, чтобы ничего не было слышно, кроме злого шипения воды по зеленому кафелю. Я почти всегда неподалеку и все вижу.

Но этим утром я сижу на месте и могу только слышать, как оформляют нового. И все равно, даже не видя его, я понимаю, что он не такой, как другие. Не слышу, чтобы он шелестел по стеночке, а когда ему говорят про душ, он не следует за ними, покорно потупив глазки, а отвечает громким, раскатистым голосом, что его уже отмыли до-чиста, спасибо.

— Меня уже помыли утром в здании суда и прошлым вечером, в кутузке. И *чесслово*, мне бы еще уши промыли, пока везли сюда в такси, если бы нашли такой приборчик. Ёлы-палы, похоже, всякий раз, как меня переводят куда-то, им надо отдраить меня перед, после и во время этого процесса. Только заслышу воду, начинаю собирать вещички. И *отвали*, Сэм, с этим термометром, дай минутку осмотреть новый дом; мне еще не приходилось бывать в Институте психологии.

Пациенты озадаченно переглядываются и снова смотрят на дверь, за которой слышен его голос. Громче, чем можно ожидать, когда черные поблизости. У него такой голос, словно он сверху вниз говорит, словно парит в вышине и покрикивает тем, кто на земле. Это голос старшего. Слышу, как он шагает по коридору, и это походка старшего, он уж точно не крадется; башмаки у него подкованные, и он цокает ими по полу. Возникает в дверях и стоит, большие пальцы в карманах, ноги шире плеч расставил, и все на него смотрят.

— Доброго утра, *братва*. — Над ним висит на бечевке бумажная летучая мышь, с Хеллоуина, и он щелкает по ней пальцем, запуская по кругу. — Дюже славный осенний денек.

Голосом он как папа, такой же громкий и ядреный, но сам на папу не похож; папа был чистокровный колумбийский индеец — вождь — твердый и лощеный, как приклад. Этот парень рыжий, с длинными рыжими баками и патлами из-под кепки, давненько не стриженный и такой широкий, каким папа был высоким, челюсть — во, плечи — во, и грудь колесом, усмехается во все зубы, и твердый он на свой манер, не как приклад, а как потертый бейсбольный

мячик. Через нос и скулу тянется рубец, кто-то засветил ему в драке, и швы еще не сняты. Стоит и ждет чего-то, а поняв, что все словно присохли к своим местам и воды в рот набрали, раздражается смехом. Никому невдомек, чего он смеется; ничего же смешного. И смех у него не то что у того типчика из общественных связей, а раскатистый и громкий, расходящийся из широкого рта кругами, все дальше и дальше, пока не раскатится по всему отделению. Ничего общего со смехом того типчика. Этот смех настоящий. И я вдруг понимаю, что много лет уже не слышал, чтобы кто-то так смеялся.

Он стоит, смотрит на нас, покачиваясь на каблуках, и знай себе смеется. Пальцы сплел на животе, а большими зацепился за карманы. Вижу, какие у него здоровые и натруженные руки. Все в отделении — пациенты, персонал, все — вне себя от него и его смеха. Никто не пытается возразить ему или что-то сказать. Он смеется вдоволь, а потом входит в дневную палату. И даже когда он уже отсмеялся, смех все равно исходит от него волнами, как звон от большого колокола, только что отзвонившего, — смех у него в глазах, в улыбке и походке, во всех его словах.

— Меня Макмёрфи звать, братва, Р. П. Макмёрфи, и я слаб до картишек. — Подмигивает и говорит нараспев: — И как только увижу колоду карт... мои денежки... так и летят, — и опять смеется.

Подходит к картежникам, отклоняет толстым грубым пальцем веер одного острого, шурится на него и качает головой.

— Да, сэр, за этим я и пожаловал к вам в заведение, добавить вам, пташки, веселья за карточным столом. На рабочей ферме Пендлтона никого уже не осталось, кто бы скрашивал мне дни, вот я и запросил *перевода*, такие дела. Заскучал по новой крови. Ёксель, гляньте, как этот птиц держит карты, всей хате видать; блин! Да я вас буду стричь, как овечек.

Чезвик придвигает карты к себе. Рыжий протягивает Чезвику руку.